

Триумф и трагедия Михаила Зощенко

Мне очень бы не хотелось, чтобы статья получилась юбилейной. От таковой известно, что требуется: отметить писательские заслуги, посетовать на превратности судьбы,— и обнадежить: все, дескать, прекрасно, ибо юбиляра мы чтим и, покуда живы на Руси читатели, не забудем.

Забыть Михаила Зощенко действительно невозможно. И этот непреклонный факт — не только наша, как говорится, гордость, но и повод для серьезных размышлений. Загадку его творений пытались разгадать и Ю. Тынянов, и К. Чуковский, и Ц. Вольпе, и Ю. Томашевский, и масса нынешних критиков, уже, казалось бы, вплотную подошедших к тому, чтобы произнести окончательное слово о великом (именно так!) писателе, ибо сейчас-то препон нет, но...

Зощенко всякий раз ускользает. При всей своей доступности — подчеркну, доступности редчайшей, аналогов не имеющей,— он неуловим, как летучий голландец. Громовой хохот сопровождал и сопровождает публичное исполнение его рассказов, его знаменитых «Бани» и «Аристократки», но над всем этим незримо витает его дух, видятся его всегда отрешенное и грустное лицо, его пронзительно умные глаза,— над чем смеетесь, господа?

Уж не над тем ли, что типы, выведенные им, оказались воистину *на все времена*? Даже на нынешние, давно уже постсоветские, когда и коммуналки сходят потихоньку на нет, и управдомы канули в Лету? Что умирать они, его герои, отнюдь не собираются, хотя всю жизнь писатель положил на то, чтобы, влезши в шкуру жильца заплеванных коммуналок, заставить его, махрового обывателя, спокон веку не читавшего ничего, кроме разве что уголовной хроники, хоть немного образумиться, впервые задуматься, поглядев на себя?

Слова Зощенко звучали в полнейшей тишине. Хохотавшие до колик слушатели воспринимали его как потрясающего юмориста, на его мастерских рассказах студенты изучали особенности сказа, их цитировали как образцы словесности, ими восхищались эстеты,— но Зощенко, совершивший поистине чудо — сошествие в ад,— оставался непознанным и непонятым.

Как известно, типаж его рассказов совершил со своим создателем в общем-то обычную для себя штуку — он его убил. Этому хаму, пребывавшему в устойчивом сознании того, что подштанники, а уж тем паче сапоги выше, само собой, и Шекспира, и Пушкина, убить еще одного человека, какого-то «балаганного рассказчика», «дурака», «писаку» (И. Сталин) ничего не стоило. Дело и привычное и, с его точки зрения, вполне разумное — ведь положительного героя, достойного подражания и восхищения, Зощенко не создал, делу строительства социализма не способствовал, о величии нашей эпохи подозрительно умалчивал, знай себе писал о банях, коммунальных склоках да управдомах. Сами подумайте, ну зачем такому жить, зачем позволять ему отравлять общественное сознание, уже близкое к коммунистическому, зачем на него тратить драгоценную, как правило дефицитную, бумагу, на которой печатать можно что-нибудь более подходящее — романы там о металлургах либо лозунги? Зачем нездоровые мысли в народе пробуждать? Да что же это, граждане, такое творится у нас на литературном фронте?!

Не сомневаюсь,— пиши М. Зощенко в своей бессмертной «Голубой книге» страницу о Сталине и Жданове и славно, со смаком, организованной ими травле гениального писателя,— он прибегнул бы к такому языку. Не потому, что язык этот был для него, неподражаемого мастера сказа, привычен, а потому, что на другом писать о гомункулусах, расплодившихся по всей гигантской стране и вершивших в ней людоедские свои порядки, невозможно. В самом деле, как? Привычными ему интеллигентскими словами, с бесконечным ужасанием и стенаниями? Так никаких слов на это не хватит, никаких эмоций.

Толстой, как известно, обвинял в этом «жабу-торгаша» (ну, не крестьян же обвинять в том, что не хотят они читать народные, высоконравственные рассказы Толстого, хоть умри!): «Сытины, Губановы, Трандафиловы легли заставами по дороге к народу, и никакая книга не пройдет туда без них».

Народ, по мнению тех, кто искал в крестьянской среде мужиков Мареев и был уверен, что в нем, Марее, и кроется истина, что до подлинной народной нравственности надо дорасти, сам по себе, разумеется, стал бы и Толстого читать, и Пушкина, и Гоголя, и даже Белинского, — дело только в цене на книжки да правильном воспитании торгашей.

В сущности, история, произошедшая с толстовским «Посредником», — та же извечная трагедия непонимания, бессилия, раздирающих душу сомнений в нужности своего труда, что всегда, как злой рок, преследовала русского писателя. Именно русского: литература Запада, более умеренная, более спокойная и благополучная, не давала такого накала страсти, такого внутреннего напряжения, — того, что Л. Толстой с присущей ему афористичностью назвал «энергией заблуждения».

«...Ничего не пишу... — начертано в «Дневнике» Л. Толстого. — Все как будто готово для того, чтобы писать — исполнять свою земную обязанность, а недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает *энергии заблуждения*».

...Когда Зощенко стал писать рассказы — а это было начало 20-х годов, — у интеллигентной публики иллюзии относительно исконной народной нравственности сильно поиссаяли. Их, собственно, вообще не осталось, — история тут постаралась. Только что отгремевшая революция весьма убедительно продемонстрировала, что вчерашний мягкотелый Иван, не забывающий перекреститься на красный угол, мужик плоть от плоти земной, живущий, само собой, в полном согласии с природой (что особо умиляло интеллигентов-горожан, от природы оторвавшихся), может взять да убить богато соседа, у которого дом под железной крышей. А тем паче — барина, что с тростью ходит. Таких убивать даже, говорят, полезно, разъяснила мужикам единственно верное учение. О нечеловеческом ужасе, испытанном доверчивой и простосердечной интеллигенцией при таком *открытии*, написано уже достаточно.

Кстати, в рассказе Зощенко «Барон Некс» подобная ситуация констатируется совершенно спокойно — как непреложный факт, который нужно принять, как аксиому. Молоденький мальчишка-«мастерок», обозленный неумной восторженностью барина и нелепым, с мальчишеской точки зрения, его видом, как может пакостит злосчастному барону. В этих пакостях — весь смысл его жизни, вся его натура. И поди угадай, чем так не угодил добрый барон этому пацаненку. Вот не угодил — и все. Вот хочется ему пакостить — и баста.

(Поневоле вспоминается схожий сюжет, записанный петербургским историком Владиславом Глинкой. Войдя блокадным жутким днем в квартиру умерших эрмитажников, владельцев огромной и роскошной библиотеки, он увидел, что весь пол сорокаметровой комнаты устлан толстым слоем растерзанных и испачканных книг. Почему, задался он мучительным вопросом, «погибая от голодного поноса, люди приходили гадить именно на книги? Пока я жив, я буду возвращаться к вопросу, пытаюсь понять, что же именно они ненавидели в этих книгах? Может быть, старорежимный их вид, олицетворяющий для какого-то полубезумного от голода пролетария ненавистные ему царский строй? Или, наоборот, символ знаний, приведших к революции, а она, мол, к этой войне, блокаде и голоду? И тогда, мол, пусть будут прокляты эти знания... Или так просто, так впрямую выразилась ненависть к интеллигенции? И к книге как к символу ее...»).

Но это был — народ. Другого, как известно, у нас не было. От него можно было сбежать в Париж, — унеся туда же свою русскую душу. Можно было стать, как недавно говорили, «внутренним эмигрантом», но эта эмиграция была едва ли легче «внешней». Можно было упрямо, снова и снова провозглашать, что интеллигенция — это лучший в стране слой, а никакая не «прослойка», якобы обслуживающая правящий класс, но

«Разруха не в клозетах, а в головах!» — убеждал своего оппонента профессор Преображенский, читателю тогда неизвестный. Это была та же мысль, что мучительно билась в фельетонах и рассказах Зощенко, высвечиваясь сквозь все уродливые речевые напластования и юмористические повороты. Мысль, в общем-то, нехитрая, но предполагающая совершенно иное отношение к человеку — жертве и причине разрухи одновременно.

Потому-то и двоится столь наглядно образ рассказчика в прозе Зощенко — его *маска*, адекватная образу того самого русского народа, который в массе своей был и Каином, и Авелем, притом существующими отнюдь не рядом, не как братья, а в одном лице. Писатель словно на себя примеривал все сразу — и натуру человека, и обстоятельства, русской натурой сначала сотворенные, а потом того же человека и раздавившие. И это обстоятельство, спокойно нами сегодня констатируемое (ведь жизнь и много лет спустя преотлично показала, насколько писатель был прав), — это обстоятельство было для Зощенко источником и жалости, и сочувствия народу, но вместе с тем — и неизбывного горя.

Не оно ли и легло вечной печалью на лик прославленного юмориста, способного рассмешить аудиторию до колик?

Чтобы в какой-то мере понять глубинную природу «явления Зощенко», вспомним его рассказ «Пациентка». В больницу за тридцать верст приезжает крестьянка Анисья. Ничем, как выясняется, она не больна, хоть и каждая косточка, говорит она, в ней ноет и трясется, а «сердце гниет заживо». Фельдшеру-то она и рассказывает про свои терзания. Муж, говорит, у нее грамотный, в штиблетах ходит, с городскими комсомолками разговаривает, — а я как есть неграмотная, ни подписаться не могу, ни дробей не знаю. И как жить теперь? Как быть?

Узнаете? Конечно же, она, великая чеховская «Тоска». Тоска, причина которой, пусть несравнимая с той, чеховской, но тоже не так уж мала, ибо она — человеческая. А человеку надо с кем-то поговорить, кому-то поплакаться. Тут хоть к фельдшеру поедешь, хоть к забору прислонишься, хоть лошади пожалуешься.

Эту женщину, неграмотную, одинокую, которая нутром чувствует, что суждено ей остаться одной, поскольку муж-то в начальство вышел, — эту женщину надо было просто пожалеть. Зощенко часто завершает свои куда как не веселые истории какой-то отдушиной, просветом, но обманываться на сей счет не стоит. Рассказ «Пациентка» кончается добрым советом фельдшера — иди, дескать, Анисья, к учителю, пусть он тебя грамоте научит, не по адресу ты обратилась, — и вздохом... Вздох, по всей вероятности, уже не фельдшерский, — зощенковский вздох.

И если попытаться его, этот вздох, прокомментировать, то в нем смешалось все — и жалость, и старая интеллигентская закваска, которую не спрячешь ни за какими простонародными словами, ни за какой маской, закваска вековая, *все равно* не позволяющая хоть в чем-то народ обвинять, и спокойная, грустная мудрость...

Этот сложный комплекс эмоций и страданий и лежит в основе его неподражаемой прозы. Зощенко вышел к народу прежде всего с глубочайшим, завещанным великой русской литературой сочувствием и состраданием. Ими и определялись острота ее, накал, ее страстность. Искра высекалась именно здесь — на столкновении страдания с болью, юмора с сарказмом, безнадежности с несомненной надеждой: дай Бог, опомнится человек, увидит себя без прикрас, ужаснется — и, вздрогнув, быть может впервые в жизни задумавшись, хоть немного прозреет. Без такой веры подлинного творчества не существует.

Это и было «энергией заблуждения» Зощенко. Причем в сочетании этом одинаково важны оба слова. *Энергия* — да, она сделала рассказы Зощенко небывало динамичными, страстными, держащими читателя в напряжении от первого до последнего слова. Но — *заблуждения*. Потому что обыватель, взращенный и выпестованный советской эпохой, черты которого с таким мастерством уловил и передал писатель, чувствовал себя в этой